

Комсомольский пер. (Воспоминания о псковских годах жизни: 1950–1970-е)

*Раньше воспоминания писали,
чтобы оценить прошлое, теперь —
чтобы убедиться: оно было.
Удостовериться в том, что у нас
была история — своя, а не общая.
Александр Генис.*

*Но где тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?*

Б. Пастернак

Пути Господни неисповедимы, это точно. Каждый из нас, призадумавшись над своей судьбой, имеет основания заключить: «Ну это ж надо!» А кто-то, более склонный к философским полётам мысли, ещё и добавит: «Ну кто бы мог подумать!»

Наши российские градоначальники считают себя, вероятно, прямыми наследниками Господними по части непредсказуемости их курьёзной мыслительной деятельности. Ну вот, например, как можно было тишайший зелёный переулочек в несколько домков назвать трескучим и претенциозным «Комсомольским»? А ведь когда-то он назывался таким нежным словом — «Златоустовский». Веяние времени и всё переименовывали-валили в идеологическую кучу, не сообразуясь ни с характером и масштабами места, ни просто со здравым смыслом.

На ржавых указательных табличках пространства на оба слова не хватало, и название выглядело так: «Комсомольский пер.». Соединял этот «пер.» две параллельные улицы с совершенно пристойными названиями: Некрасова и Свердлова.

Переулочек спрятался среди зелёных благоухоающих улиц города Пскова. Я в этом городе выросла, Комсомольский переулочек почти восемнадцать лет был адресом нашей семьи, и находился он в нескольких минутах ходьбы от главного проспекта города — Октябрьского. (А улица Ленина, обязательная

для всех российских городов, почему-то была не центральной, отходила от проспекта в сторону и выглядела ничуть не значительнее других улиц).

Псков — город старинный, с героической и достойной древней историей. Но ко времени моего рассказа, к 1950–60-м годам, он давно уже превратился в обычный провинциальный областной центр, зелёный, чистенький, с душистыми сиренями, акациями, липами и разноцветными клумбами, со множеством белых приземистых церквушек, уютно сидящих то на холмике, то в скверике, то на берегах медленной, широкой реки Великой и узенькой суегливой речки Псковы, вливающейся в Великую в самом живописном месте города, у подножия высокого холма.

Этот город был отрадой для столичных туристов. Задёрганные шумом и ритмом больших городов, они сразу попадали в особую провинциальную сонливую тишину, в душистость тополей, радовались умиротворённому сиянию древних белоснежных церквей, замедленности плавно протекающего времени. Тихо вздыхали: «Как хорошо здесь жить, как красиво, спокойно!»...

И никто не знал, как невыносимо скучно жить здесь молодой, жадной до впечатлений, интересных людей и событий девочке.

А впечатления и события, которые этот город мне предоставлял, были унылы и однообразно-примитивны. Как угнетала эта неиз-

менность ватной тишины, ощущение застывшего, какого-то мутного бытия!

И на удивление пустые улицы. Уютные, душевные, но такие пустые! Редкие прохожие и вовсе нагоняют тоску: там проковыляет сердитая тётка с нагруженными авоськами; там качается пьяный мужик; здесь — вагага скачущих и лениво матерящихся юнцов... А вот мимо сонно проплыл некто вообще с никаким выражением лица. И всегда меня мучил вопрос: «А люди-то где? Почему город всегда кажется таким пустым? Вот ведь много домов, но куда же люди деваются? Даже шевеление за занавесками не очень заметно. Неужели все тихо сидят за своими дверьми, и — что? Книжки читают? Вряд ли, судя по основному выражению лиц наших горожан...

Только два раза в день город бурно оживает. Утром, откуда ни возьмись, бегут озабоченные граждане на работу, берут приступом переполненные автобусы — и до вечера город привычно пустеет. Медленно ковыляющие пенсионеры с авоськами или колясками с младенцами да случайные бездельники не нарушают общей дремотной атмосферы.

Но вот заканчивается рабочий день, опять переполненные автобусы, суета и бурные перебранки в магазинных очередях. Вдруг — опять на улицах никого!

А в выходные и вовсе город пустой, хоть караул кричи. Разве что важно и презрительно проползёт иногородний туристический автобус с мутными пятнами глазающих лиц, да кое-где кучки туристов мотают головой за указующим перстом местного экскурсовода.

И ведь нельзя сказать, что Псков — совсем дремучая окраина: несколько больших заводов, педагогический и технический ВУЗы, техникумы, театр...

Но город был не просто провинциальный. Дело обстояло куда хуже: в каких-нибудь четырёх-пяти часах езды на север — Ленинград, неофициальный символ российской культуры и почти европейской цивилизованности. А с запада ещё ближе — Прибалтика, уже совсем как бы европейская граница. И это соседство не давало покоя той части населения, которая считала себя псковской интеллигенцией по имени самими придуманным признакам. Ведь так хотелось тоже быть «сто-

личной штучкой»! Честолюбивые амбиции дразнили, подзуживали особенно неумных заявлять о себе придумыванием, например, «Клуба Псковской интеллигенции», где были свои интриги и группировки (всё как у людей!) и где разворачивались целые представления (так называемые тематические вечера), демонстрирующие убогую псевдо-богемность участников и завидующих зрителей.

А настоящая интеллигенция, которая, как в любом городе, была и в Пскове, не вылезала из своих домашних библиотек на всеобщее обозрение и посмешище, занималась своим делом и общалась с узким кругом себе подобных. Мне так и не удалось, по младости и необразованности, проникнуть в этот круг, как я ни стремилась, как ни тосковала в своих одиноких душевных метаниях и жажде яркого, интересного общения.

Как мы вообще попали в Псков? Мне трудно разматывать нити маминого и папиного прошлого, просто потому, что я очень мало знаю. Ко времени моего детства и юности начисто исчезла традиция поисков и сохранения родственных корней; многолетний страх взрослых обнаружить в родне «социально чуждые элементы» привёл и к полному отсутствию любопытства у детей. А сейчас уже и спросить не у кого. Но всё же из редких оговорок, случайных воспоминаний родителей я попробую сделать хотя бы набросок каких-то моментов их жизни, как я себе это представляю, рассказать то небольшое, что мне известно. Ну, с Богом в путь!

О мамином детстве и юности я уже попробовала немного написать («Витенька Идельсонова и девочки Шварцевы»). Теперь настал папкин черёд.

С ним у меня с детства и навсегда сложились иронично-ласковые отношения, он никогда не был для меня ни в чём авторитетом, скорее — приятелем, детской игрушкой. С ним мы валяли дурака, втайне от мамы устраивали какие-нибудь проделки, а потом вместе спасались или оборонялись от маминих гневных выговоров. Поэтому он никогда не был для меня — отец, а только папка, папеч, папуля, иногда иронично-высокопарно «отче».

О его семье в памяти отложилась фраза, смысл которой я не очень понимаю: его ро-

дители, белорусы по национальности, были «ссылные политкаторжане». Из Белоруссии их выслали в Ачинск, маленький сибирский городок под Красноярском. Какое отношение они имели к политике, да ещё и к каторге — ума не приложу. И как это связать с тем, что папкин отец-«политкаторжанин» до конца жизни был православным священником в глухом и совершенно нищем сибирском приходе?

Да и с фамилией получился курьёз. Есть вполне распространённая белорусская фамилия Абрамович, с ударением на второе «а». Но в России их стали именовать Абрамович, с ударением на «о». Это тоже вполне распространённая фамилия, но уже в другой, всем понятной национальности. Так что букет получился колоритный: политкаторжанин, да православный священник, да с такой фамилией!

А кстати, как, например, определить мою национальность? Мамина мама, моя бабушка Мария Владиславовна, была наполовину полячка со стороны отца (её девичья фамилия по отцу — Лянданска) и наполовину француженка(!) со стороны матери. Вышла замуж за очаровательного добряка и умницу, красавца еврея Михаила Яковлевича Идельсона. Значит, их дочь, моя мама — польско-французско-еврейской национальности? А мама вышла замуж за белоруса, Петра Степановича Абрамович. Вот такая получилась гремучая смесь.

Ну, и кто же я? Конечно, просто русская, Людмила Петровна, хоть и Абрамович. Потом, по первому браку я стала Лобановой, и очень сжилась с этой фамилией.

Так и жил в глухом сибирском углу Степан Абрамович с женой Марусей и тремя детьми: старшая Зина, средний... Николай (с трудом сейчас вспомнила его имя, потому что звали мы его между собой «весёлая минутка»). Все свои нечастые письма из Ачинска к нам он неизменно предварял таким зачином: «Добрый день, хороший час, весёлая минутка!» Видимо, для ачинской пожарной части, где он служил сторожем, это считалось в высшей степени «галантерейным» обращением). В 1903 году родился младший — Петруша, «Петро Стяпаныч Абрамович».

Все Абрамовичи были похожи друг на друга: нос картошкой, небесно-голубые, наи-

вные и простодушные глаза, мягкие светлорусые волосы — самая ординарная «расейская» внешность. Бабушка, мамина мама, говаривала: «Был один русский Абрамович, и тот моей Виктории достался».

Нищета была ужасная, голод, холод, суровые наказания отца. Образование было самое примитивное, грамота на домашнем уровне, но у Петруши был хороший музыкальный слух и голос, он с детства пел в церкви у отца и до конца жизни помнил все церковные службы и песнопения. Конечно, в нашу суровую атеистическую эпоху об этом и заикаться было нельзя, но иногда папка вдруг, задумавшись, то запоёт что-то церковное, то какую-нибудь фразочку на старославянском пробормочет. Мама сразу на него шикала, и он умолкал.

(А на наших семейных праздниках как он голосисто заливался вместе с подвыпившими друзьями! У меня с ним были две любимые песни: «Спят курганы тёмные...» и «Я уходил тогда в поход...», которые мы пели только вдвоём).

Когда Пете было лет 10—11, родители умерли. Оба брата остались на руках у старшей Зины. Потом всю жизнь он вспоминал о сестре с такой благодарностью и любовью, что даже слёзы выступали на его глазах. Она просто не дала им погибнуть. Как они выжили — об этом он никогда не рассказывал.

Но один потрясающий эпизод, связанный с Зиной, он не однажды вспоминал. Во время войны папка горел в танке, был тяжело контужен и в госпитале почти умирал. Однажды во сне, в предсмертном бреду ему явилась уже умершая Зина, встала в изножье его кровати и сказала, что ещё рано, он должен жить, она ещё подождёт... После этого он начал поправляться... Мир праху твоему, чудесная Зина, о которой я больше ничего не знаю.

Грянула революция, Гражданская война. В Петрушиной жизни начался период, о котором я знаю только, что он каким-то образом попал в конную дивизию к легендарному Котовскому (который в различные политические веяния и моды считается то героем, то бандитом) и был сыном полка. Что он там делал, как вообще всё было — не знаю.

Но, вероятно, это помогло ему просто физически выжить.

После окончания Гражданской войны он был направлен в Москву, в какое-то училище, где обучали на автомеханика. Автомехаником он оказался очень хорошим, настолько, что, когда в 30-е годы прокладывали первую автодорогу через пустыню Каракум, он был одним из руководителей этой первой автоколонны. За что получил красивый орден, в детстве он мне нравился больше всех его медалей и орденов за войну.

О его личной жизни за все эти годы я ничего не знаю. Была ли у него семья, где он жил, какие были друзья... — ничего. Ну надо же быть такой балдой, чтобы ни о чём не спрашивать!

Началась Отечественная война. Мой героический папуля стал командиром танковой — дивизии? роты? — ничего в этом не понимаю. Знаю, что дослужился до чина капитана танковых войск. Первое ранение — прострел левого бедра; с тех пор он всегда тяжело прихрамывал. Вот с этого ранения начинается его знакомство с мамочкой. Не заметить друг друга им было просто невозможно.

В это время мама служила в одном из военно-полевых госпиталей 2-го Белорусского фронта; она отвечала за организацию политинформаций и культурно-развлекательных мероприятий для раненых. Ленинградка Витенька, Виктория — полная статная красавица, член компартии, строгая, ответственная, но и хохотушка, и острая на язык, и с такой доброй, чуткой душой, с таким мягким солнечным взглядом, что к ней всегда стремились люди, порой бессознательно, к её теплу, чудесному юмору, сердечной доброте...

А папка, весельчак и балагур, невероятно добрый и всех жалеющий, был таким Василием Тёркиным местного масштаба. Любимец раненых, нянечек, медсестёр, поваров — он был всеобщим незаменимым утешителем, выхаживателем тяжелобольных, ну и конечно, участником всех госпитальных концертов со своим прекрасным голосом и непритязательными, но добрыми и смешными шутками. У меня хранится старая карточка, на которой такая компания: в центре — развесёлый папка в больничной белой рубашке и полосатых пижамных штанах, заправленных в военные сапоги, на голове «чёртом» сидит офицерская фуражка. А вокруг него — цвет-

ник «младшего медперсонала» в белых халатах. Все смотрят на него и смеются: не иначе папка отмочил очередную хохму. Замученные, худущие, но такие молодые, так радуются доброму и весёлому слову...

Но вот Пётр Абрамович отправляется опять на фронт. Кстати, никаких фронтовых писем-треугольничков среди маминых бумаг нет. Может, их и не было?

А потом происходит совершенно фантастическая история. Папка, командир танкового подразделения, ведёт в первом танке своих бойцов-танкистов в атаку. В разгаре боя рядом с его танком разрывается бомба, танк загорелся, папка успел выскочить и отбежать в сторону. В это время недалеко разрывается ещё одна бомба, и он без сознания падает в воронку. Ещё одна бомба — и его в воронке полностью засыпает землёй.

Бой закончился. С поля боя убрали убитых и раненых. И тут выяснилось, что Петра среди них нет. Но все его так любили, что солдаты, заявив: «Без Петра не уйдём!» — буквально перекопали весь участок наступления, пока его не нашли!..

С тяжелейшей контузией, почти без надежды, что выживет, папа опять попал в госпиталь, но не в тот, где служила мама, а в шести километрах от него. Вот тогда ему было явление сестры Зины. Он всю жизнь считал, что Зина и вытащила его с того света. Но врачи тоже делали своё дело...

Когда он пришёл в себя, то сразу попросил, чтобы к нему пришла его Витенька. И началось мамино каждодневное хождение за шесть километров туда и обратно. На маминых глазах папка после контузии совершенно облысел, начал ужасно заикаться. Да ещё новые проблемы с кормёжкой: он категорически отказывался есть госпитальную еду и просил, чтобы Витенька сама готовила. Конечно, эти капризы больного человека были невыполнимы, но мама придумала: три раза в день она приходила в госпиталь с котелком, её и Петра все знали и любили, на кухне клали в котелок еду, и когда мама кормила его с ложки, он нахваливал и говорил: «Н-ну в-вот эт-т-то д-д-р-ругое д-д-ело, а т-т-о т-тут в-варят в-в-всякую д-дрянь».

В общем, и в этот раз папку **выходили** и врачи, и мамина любовь, и, наверное, судьба.

В день выписки из госпиталя и отправки опять на фронт Пётр в полной военной форме пришёл к маме попрощаться. Казалось бы, ничто не предвещало беду...

Неподалёку в отдельной избушке располагалось военное начальство. Ему сказали, что Витеньку вызвали туда. Он пошёл к избушке и присел на лавку под открытым окном. Через окно из избы доносился начальственный голос, который без обиняков, настойчиво и властно склонял юную красивую Витеньку к тому, что на войне называлось «ВПЖ» — военно-полевая жена, жена на время войны. Потом — все вернутся к своим семьям, а война, как говорили некоторые, всё спишет. Но далеко не все были этими некоторыми. Мама была страшно оскорблена таким предложением, почти приказом, и что-то возмущенно говорила в ответ. И тут в избушку ворвался Пётр, белый, бешеный, начал, заикаясь, что-то выкрикивать и выхватывать револьвер. В момент выстрела мама кинулась к нему и оттолкнула его руку. Пуля попала в оконное стекло...

Разгневанное начальство потребовало военно-полевого суда за «покушение на вышестоящий чин», разумеется, не поясняя причин этого бешеного поступка. А последствия военно-полевого суда могли быть самые суровые.

И опять папку спасла его добрая душа и любовь к нему за это. Все встали на его защиту, писали прошения, характеристики, рапорты. В общем, отвоевали своего Петра Степановича от суда. И отделался он от этой истории совсем нелёгким испугом, временным арестом и понижением в звании. Но получил — уже навсегда — свою Витеньку.

Всю эту историю я узнала, будучи совсем взрослой барышней, когда и папы уже не было в живых. Её мне рассказала в Киеве мамина фронтовая подруга Ольга Сокол, военный врач-хирург. История меня просто ошарашила. Настолько не вязался с этим эпизодом известный мне образ. Я ведь знала папку уже хромым, лысым, часто болеющим, и главное — очень всего боявшимся, совсем и никогда не могущим за себя постоять, всегда за спиной и защитой обожаемой и бесстрашной — а что остаётся делать? — Витеньки. Так что в нашем доме «мужчиной», хозяи-

ном была мама, как бы тяжело ни было нести ей этот крест.

Как он стал таким безответным, что его так сломало?... Я думаю, что, конечно, общая послевоенная беда — страшные аресты, страшные судьбы, нищета и унижительная брошенность на произвол судьбы вчерашних героев, победителей в такой страшной войне. Но было у папки что-то ещё...

Это «что-то» отравило всё моё детство в Комсомольском переулке. Он тогда работал главным механиком в большом городском гараже, каждое утро проверял исправность грузовых самосвалов и давал или не давал разрешение на выезд. Как всегда и везде, его очень все любили, а как выражается любовь по-русски? — разумеется, с каждой зарплаты нужно дорогого Стяпаныча угостить, напоить от души. И папка, тоже не последний любитель выпить, не мог отказать, «обидеть хороших людей». У нас не было той беды, что была у многих моих сверстников: отцы пропивали зарплату. Нет, все деньги он приносил в семью, но иногда так «переугощался», что еле приплетался домой.

Ему вообще нельзя было пить: война, контузия оставили свой след, и он не засыпал, как говорится, «пьяным мертвецким» сном, а, наоборот, очень возбуждался, озлоблялся, ещё больше заикался и хромал. И стоило ему выпить лишнего со своими «шоферюгами, шофернёй» (как называла ненавидящая их за это мама), как он из простодушного добряка превращался в разъярённого дебошира и метался, хромая, всю ночь по нашей крохотной комнатухе, хватался за голову и выкрикивал страшные слова: «С-сволочи, ах, свол-лочи! Что н-наделали! Что н-наделали, ах, св-волочи!» Маме с трудом удавалось успокоить его: «Забудь, не думай об этом, всё позади!» — но чего это ей каждый раз стоило, сколько горя и муки было на её лице! Это было ужасно.

При всей своей любви к папке я так и не простила ему эти ночи, мой страх и стыд, что кто-то вдруг узнает об этой нашей беде, и это мамино горе от его, хоть и редких, пьяных несчастных ночных страданий.

Но что-то за этим стояло, какой-то пережитый ими ужас, который окончательно сломал braveго танкиста Петрушу. Я ничего

об этом не знаю, а может, мне и не положено знать...

Эти сцены были ещё ужасней потому, что всё остальное время добрее, покладистей и легче человека было не найти. Ясно, что ни аристократичностью воспитания, ни особым образованием жизнь его не наградила, но самый главный показатель его души, его личности — как его обожали дети! Всегда в нашем доме толклись какие-то папкины «товарищи», с кем-то он делал уроки, кого-то отводил в детский сад или приводил из школы до прихода родителей. Все свои беды и радости несли они к нему. А сколько брошенных собачек и кошечек притаскивали они к своему лучшему другу дяде Пете, точно зная, что уж он-то не даст пропасть никому. И папка всех детей утешал и смешил, животных выращивал или отдавал в надёжные руки, а бабушки и мамочки благодарили его, как могли: то достанут дефицитные валенки, то свяжут тёплую душегрейку, то принесут домашней капустки с огурчиками...

А вот ещё один эпизод, ярко показывающий папину натуру. Пошёл он как-то не поздним вечерком к зубному врачу. И пропал. Телефонов не было, где он, что случилось — неизвестно. Наконец, мы с мамой не выдержали и поехали на другой конец города в зубную поликлинику. Нас встретила вахтёрша и сказала, что все врачи уже ушли, только в одном кабинете кто-то ещё есть. Мы помчались в этот кабинет и увидели такую картину.

Сидит позеленевший папка в зубо-врачебном кресле, а вокруг него хлопочут совсем молоденькие девочки и мальчики в белых халатах. Оказывается, в тот день на практику пришли студенты медучилища учиться снимать у пациентов слепки для изготовления протезов. Процедура очень болезненная и долгая, нужно немалое мастерство, чтобы вместе со слепком не выдрать зубы. И за весь день никто не подпустил к себе юных неопытных практикантов.

Тут появился мой папуля. Пока сидел в очереди, он успел познакомиться и обаять всех девочек-мальчиков, узнать их проблемы и... дальше понятно. Все давно ушли, а поголовно влюбившиеся в «дядю Петю» юные зубные техники с энтузиазмом и благодарностью тренировались и тренировались на нём по очереди.

Мама, конечно, немедленно прекратила эти игры и по дороге домой бранила папку: «Ты что, с ума сошёл? Это же так больно, и можно вообще без зубов остаться! Нашли мальчика!...» А он, уже немного пришедший в себя, тихо оправдывался: «Ну Витенька, ну должны же ребятки учиться!»

А потом грянула беда: у папы — рак. Мама настолько охраняла меня от этого ужаса, что я даже не знаю, делали ему операцию или так отпустили доживать на лекарствах.

Папка слабел, всё меньше выходил из дома, но каждый месяц после получения пенсии покупал маленький букетик цветов и отправлялся на другой конец города в нашу областную больницу к врачу-онкологу Скрыбину — благодарить его за внимание, за то, что Скрыбин такой чудесный врач и человек...

Но вот папуля окончательно слёг, и вдруг к нам пришёл... сам Скрыбин! Посмотрев на папу, он сразу всё понял, но весело заявил: «Пётр Степанович, как же так? Я жду цветочки, а вы...» Папка был так счастлив, так растроган этим вниманием, что проследился. В коридоре врач тихо сказал окаменевшей маме: «Сколько я видел больных, но такой светлый человек... ах, как жалко!»

На папины похороны пришло много неизвестных мне людей, весь наш двор занимала молчащая толпа, и было такое количество детей с родителями, бабками и дедками, что это потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем сам вынос папы в гробу из дома...

Но до этого ещё была целая жизнь.

Почти сразу после войны мама с папой оказались под Ташкентом, в маленьком узбекском городке Чирчик. Этому предшествовала смутная для меня история маминой обиды на ленинградских родственников.

Мамина мама (в семье её звали *бабелёкка*), мамины брат и сестра с семьями — все вернулись из эвакуации в Ленинград, в свои квартиры. Мама вернулась позже, с фронта, после демобилизации. И привезла мужа, сибиряка Петра. Но мамина комната была уже отдана другим людям. Почему пропала мамина ленинградская прописка и комната? — этого мне узнать уже не у кого. Осталось только невнятное ощущение, что, пока мама была на фронте, её брату Эдику, занимавшему не последний пост на крупном

заводе, надо было подсуетиться, напомнить в жилконторе о принадлежности маме этой комнаты... Хотя он вообще отличался редкой добросовестностью и обязательностью, тем более по отношению к родственникам. Так что дело, может, и не в нём.

Кроме того, у мамы возникли какие-то конфликты с бабёлкой в связи с Петром. Скорее всего, не ко двору пришёлся молодой, хромающий и облысевший после контузии, офицер танковых войск, уж очень простецкий добряк и выпивоха Пётр Степанович.

Характер у мамы был крутой; она, конечно, не порвала с родственниками, глубоко и преданно всю жизнь любя их, но могла резко обидеться и бесповоротно изменить жизнь. Имея довоенную специальность метеоролога, она получила в Главном управлении метеорологии направление в Чирчик, небольшой городок под Ташкентом, подальше от любимого и так ранившего её Ленинграда. Папе было всё равно, где находиться, главное — с Витенькой.

В Чирчике мама работала на метеостанции, а папа — наверное, по своей специальности, техником-механиком автомашин. От мамы-папиных случайных и редких воспоминаний об этом периоде нашей, вернее, их жизни составилось общее впечатление, что было голодно и было много хороших людей.

Там появилась я.

Первое моё осознанное воспоминание как смутный сон. Я совсем маленькая, меня держат на руках какой-то мужчина в синем халате. Мы стоим в длинном коридоре у окна, за окном — небольшой пустырь, поросший сорной травой до кирпичного полуразрушенного забора. Вот за забором самое главное — мама с папой. Они машут нам руками, улыбаются, кивают. Всё.

Как-то, будучи уже отроковицей, я рассказала об этом маме. Мама была поражена. Оказывается, в возрасте года с небольшим у меня было крупозное воспаление лёгких и сильное подозрение на начинающийся туберкулёз. Мне сделали полное переливание крови, маминой крови. Потом поместили в инфекционное отделение, куда не пускали родителей. Я бы наверняка погибла, — послевоенные годы, разруха, плохое питание...

— если бы меня не выходил какой-то большой из мужского отделения. Он меня так полюбил и жалел, что буквально сутками носил меня на руках, кормил, поил, утешал, баюкал. И это с ним мы были у окна.

О нём маме рассказали врачи и нянечки, когда меня выписывали из больницы. Мама кинулась искать этого человека, но он как раз накануне уехал. Найти и поблагодарить его так и не удалось. Спасибо Вам, хоть и запоздалое, спасибо!

(Вообще-то столь раннее воспоминание намекает на несомненную гениальность. Но — воспоминание осталось, а гениальность... Ладно, чем богаты, тем и рады).

После войны было очень голодно, и все старались разными способами хоть немного увеличить семейный прокорм. Мама с папой взялись откармливать помоями поросёнка Борьку, чтобы потом из него, зарезанного, сделать запасы на голодную зиму. Конечно, именно у них из этой затеи ничего не вышло, да и выйти не могло. Они оба так любили животных, что всё зверьё, которое всю жизнь попадало к нам в дом, постепенно становилось совершенно «очеловеченным».

Поросёнок Борька был весёлым, добрым и очень верным другом. Они всю жизнь его вспоминали. Ну как можно было съесть Борьку, который встречал с работы восторженным, поистине пороссячьим визгом, сшибал с ног, подпрыгивал и лизал лицо! Который охранял во дворе люльку со мной маленькой и яростно отгонял от дома бродячих собак и чужих людей!

Кончилось тем, что, когда Борька вырос и его стало уже не прокормить, его с плачем отдали соседу. И потом не взяли у соседа ни грамма Борькиной свинины.

Но подкармливаться как-то было надо. Папка очень любил землю и считал себя большим знатоком по части огородных дел. При этом ничего в земле не понимал и не умел ничего толком делать, что всегда было предметом домашних шуток и подковырок. В Чирчике по талонам выдавали немного пшеницы, и он решил это пшено посеять во дворе в надежде на немалый урожай. Кто-то из весёлых соседей увидел папкину посевную кампанию и посоветовал поливать горячим молоком, чтобы сразу выросла пшённая каша...

Ещё запомнился эпизод про девушку-узбечку, которая случайно упала в помойную выгребную яму. Над ней кто-то посмеялся, и она от позора чуть не наложила на себя руки. Это видел мой папа и привёл её в наш дом. Дома её вымыли, переодели и, главное, утешили и уговорили, что ничего страшного и позорного не произошло. В общем, они её просто спасли...

Мама с папой всегда вспоминали чирчикский период очень тепло. Но оттуда пришлось уехать внезапно и срочно: заболела мама.

Мамочка от рождения была полная, но статная, подвижная, с лёгкой походкой. Ташкентская жара её совсем не удручала, в отличие от папки-сибиряка. Мама много ходила по солнцу с непокрытой головой, и однажды случилась беда: она попила в жару из ледяного арыка и подхватила малярийную лихорадку. Болезнь была такой тяжёлой формы, что очень быстро из толстушки мама превратилась чуть ли не в скелет. Врач сказал папе, что, если он не хочет потерять жену, он должен немедленно увезти её из этого климата.

Папка от страха всё понял буквально, схватил маму, полуторогодовалую меня и умчался в тот же день в Ленинград, к маминим родственникам. Потом они по почте увольнялись, получали документы...

Мамин друг, тётя Валечка Шварц рассказывала мне, что «когда Петя привёз в Ленинград больную Витеньку и тебя, ты была такая крохотная, слабая зелёная обезьянка, что никто не верил, что ты выживешь. Кроме Витуси».

Кроме мамы, кроме мамы...

Мама выздоровела, я выжила. Где жить, что делать дальше? Папа пошёл в военкомат, и ему предложили на выбор два города: пограничный с Финляндией Выборг и подальше от всех границ Псков. Мама, после войны всю жизнь боявшаяся близости враждебных территорий, сразу выбрала Псков.

Так мы оказались в полуразрушенном после войны Пскове, и сначала года два жили на крохотном чердаке старого деревянного двухэтажного домика. Потолком была железная крыша, сразу под ней — маленькое чердачное оконце. Забираться в наше обиталище надо было по крутой, узкой и шаткой лесенке

без перил, за водой ходили к уличной колонке на соседней улице, туалетом служило старое ведро за драненькой занавеской...

Папу в это время я почти не знала. Он работал где-то в области, приезжал редко.

Как ни странно, я многое помню об этом периоде нашей жизни. Помню напротив дома через дорогу пожарную часть с единственной пожарной машиной, с вечно пьяными и орущими что-то грубое пожарниками.

Частым нашим гостем был страшный помойный чёрный кот, первое животное в моей жизни, которого я хорошо помню. Мы звали его моим детским лепетом «Кота-чёрный». Вероятно, мы заняли его жилище, но Кота-чёрный быстро понял, что здесь можно подкормиться. Мама к нам его не пускала, боясь, что он заразит меня какой-нибудь гадостью. Поэтому он садился на небольшой выступ крыши под нашим окошком, тарашился в окно, и если дома кто-то был, лупил лапой по стеклу. Мама через форточку бросала ему поесть, и перед уходом он всегда опять лупил в окно на прощание. Иногда Кота-чёрный пропадал на несколько дней, мама переживала, не случилось ли чего с ним. Наконец, он появлялся, весь ободранный, с кровавыми гниющими ранами, и понуро сидел под окном. Мама толкла в порошок таблетки стрептоцида и посыпала через форточку его раны, а умница Кота-чёрный осторожно поворачивался, подставляя под порошок раненые места...

Под нашим чердаком жило семейство Маньки и Степана Белоусовых с тремя дочками — дылдой Люськой, Тамаркой лет пяти и совсем маленькой Наташкой — и бодрой злобной бабкой. Я помню их одинаковые тупые лица, белесые бессмысленные глаза. Маму, конечно, они считали своей лучшей подругой. И только ей по большому секрету было поведано, что Наташка вообще-то Люськина дочка. И что самое невероятное: Люське как-то удавалось скрывать своё интересное положение даже от матери, замордованной заботами тяжёлой жизни и Степановыми пьянками, и родила Люська дома однажды вечером, даже не пикнув, в присутствии бабки, которая ничего не заметила, пока не запищала новорожденная Наташка.

После пережитого шока чета Белоусовых Наташку тихо удочерила, Люськин позор остался в тайне. Семейство жило в ужасной бедности, но девчонки дружили, помогали матери по хозяйству, и жизнь как-то тянулась, пока семья не начала разваливаться на глазах. Первым умер от перепоя Степан, потом куда-то пропала Люська. Мы жили уже на Комсомольском, когда однажды к нам пришла одряхлевшая и окривевшая Манька поделиться с мамой смешной новостью: врачи нашли у Тamarки какой-то рак. Мама изменилась в лице, а Манька хихикала и веселилась: «Ну дураки, придумали болеть!» Когда она ушла, мама сказала: «Какое счастье для Маньки, что она такая дура и ничего не понимает!» Вскоре Тamarка умерла...

В том же далёком чердачном детстве у нас с папкой появилась и надолго осталась такая дурацкая игра: почему-то при виде милиционера надо было быстро хватать друг друга за руку и сильно мотать сцепленными кистями рук, при этом тихо и ехидно помаякивать. Как только ничего не подозревающий милиционер исчезал из поля зрения, сразу можно было руки отпустить и забыть — до следующего милиционера. Вот таких дурацких, но пленительных для детского умишка папкиных придумок было множество. То он тебе начинал нос «покрепче прикручивать, чтобы не отвалился», то вдруг как-то пронзительно пищал и бегал пальцами по тельцу ребёнка, как будто кого-то искал, приборматывая: «Где-где? Кто это-кто это?», при этом глаза его так плутовски шныряли по сторонам, а ребёнок в восторге верещал и висел на своём дорогом дяде Пете!..

Самая смешная игра была «в магазин». Я была постарше, уже на Комсомольском, дети притаскивали к нам из своих домов любой жалкий хлам — пыльные бесформенные шляпки, драные галоши, старые кофты, ржавые кастрюли — и мы по очереди их «продавали» папке. Он напяливал на себя всё, что «покупал», и, конечно, никто, кроме него, не мог так смешно кудахтать и кукарекать от радости в «новой» шляпке, жонглировать драными галошами, заматываться в кофты и трубить в кастрюлю!..

Сейчас вдруг вспомнила одну из последних папкиных хохм, при которой я не

присутствовала, но очень живо представляю себе, как это было.

После моей первой свадьбы мы со свеженьким мужем уехали на юг. А на следующий день совсем старый и большой папуля (через два месяца его не стало) вышел на нашу коммунальную кухню... в моей свадебной фате. Как ни в чём не бывало, он заговорил с мамой, соседками, и, занятые своими кастрюлями, они не сразу заметили его наряд. Но когда вдруг на него взглянули, начался такой истеричный хохот, что из комнат прибежали мужья. А папка совершенно невозмутимо сидел на кухонном табурете, нога на ногу, руки в брюки, на лысой голове фата набекрень, и невинно спрашивал: «Ну а что такое? Милка поносила, теперь я поношу, схожу в ЖЭК похвастаюсь, в магазине без очереди что-нибудь дадут...», а в общем грехоте смеха только слышались всхлипы: «Ой, ну, дядя Петя! Ну вы как всегда...»

Возвращаюсь на чердак. Помню, как на нашем колченогом столике под окошком появилась странная коробочка, которая всё время что-то говорила. Я пыталась расковырять коробочку заднюю стенку, чтобы выяснить, кто там говорит, тоже рассказывала ей что-то про лису в тёмном лесу, но коробочка не реагировала и гнула своё. Мама, как ни старалась, так и не смогла объяснить мне, трёхлетней, что же такое радио. И до сих пор для меня закрыты мистической завесой три тайны: почему говорит радио, почему летит самолёт и не тонет корабль. Умом я всё знаю, получила в своё время техническое образование, но вот душа не принимает...

Мне было, наверное, года три с половиной, когда произошла моя первая «встреча с прекрасным» — поход с мамой в местный драмтеатр на утренний спектакль «Аленький цветочек». Мы очень опаздывали, идти надо было далеко, а я была так возбуждена предстоящим событием, что всем встречным начинала рассказывать, куда это мы так спешим. Впереди на земле сидел безногий инвалид и просил милостыню. Когда мы с ним поравнялись, мама покопалась в кошельке и вынула монетку: «на, дай дяденьке». Дяденька оказался пьяным, вонючим, с гноющимися глазами и ртом. Я бросила в шапку рядом с ним денежку и начала быстро ему рапорто-

вать, как меня зовут, где мы живём и куда бежим. Мама схватила меня за руку и потащила дальше, а расстроженный дяденька завопил вослед, какая я хорошая дочушка и «дай, я тебя поцелую». Я выдёргиваю свою руку из маминой, бегу обратно к дядьке, подставляю щёчку, и он целует меня своими гнойными губами. В ответ на мамин ужас я объяснила: «Ты же сама говоришь, что взрослых надо слушаться»...

Наконец, мы в театре. Опоздали почти до середины действия. Усевшись у мамы на коленях, я начала громко интересоваться, почему так темно и тихо. Мама не успела шикнуть на меня, как на сцене в кромешной тьме вдруг загорелся маленький огонёк и раздался страшный и грубый голос, жутко рычащий что-то вроде: «Не бойся меня, девушка-красавица!» Я в ужасе заверещала, спрыгнула с мамы и забилась под кресло. Мама пыталась меня уговорить, но я рыдала и кричала на весь зал этому голосу: «Молчи, молчи!»... Голос замолчал, спектакль был приостановлен, пока усилиями мамы и соседей меня не вытащили из-под кресла, и под мой рёв и шипение зрителей мы с мамой покинули театр... до следующей встречи с прекрасным.

Долго потом, проезжая иногда в автобусе мимо этого дома, мы смотрели на наше чердачное окошко, и, по мере своего взросления, я всё больше поражалась невозможности жить в таких условиях. Сейчас на месте дома — уютный скверик, а память о том чердаке осталась только в моих воспоминаниях.

Мне было, наверное, года четыре с половиной, когда однажды тёмным осенним вечером мама привезла меня в кузове грузовика в незнакомый дом, втащила и бросила на пол комнаты узлы жалкого нашего скарба, посадила меня на узлы и попросила ждать и не плакать, а она скоро придёт.

Пустые стены были обшарпаны, с потолка на кривом шнуре свисала тусклая лампочка, в чёрное окно хлестал дождь. Я, конечно, сразу ударилась в рёв и довольно долго выла и скулила. Наконец, пришла мама и села рядом со мной на узлы такая замученная, что я сразу умолкла.

Так началась наша жизнь в Комсомольском переулке.

Понятно, что после чердака переезд в эту комнату был неслыханной удачей.

Но мамина мечта о возвращении в Ленинград была главной звенящей нотой всей нашей псковской жизни. С раннего детства мама возила меня в Ленинград к своим родственникам и друзьям. Ничего лучше и праздничней в моей жизни не было. (Вплоть до того, что, если меня было не добудиться рано утром, мама шла на последний беспроигрышный приём: «Милочка, вставай, на поезд опоздаем!») Я вскакивала, как пружина, и каково же всегда было горе осознания действительности! Мама тоже со мной переживала, но другого способа пробудить «спящую красавицу» иногда просто не было).

Мама надеялась и свято верила, что Псков — это временная пересадка перед настоящей, полноценной жизнью в Ленинграде. Надо только немного встать на ноги, немного подрасти Миле, подлечиться от фронтовых ран Петру...

Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временные явления.

Мы прожили в Пскове до моих двадцати пяти лет, на псковском кладбище покоится папа. Мамочка к тому времени перешла уже в довольно пожилой возраст, пустила такие глубокие дружеские корни и оставила в Пскове столько жизненных и душевных сил, что мечта о Ленинграде могла так и остаться в семейных преданиях.

Но она сумела накрепко внедрить в моё сознание, в мою жизнь эту мечту; я-то уж безусловно уверовала, что Псков — переходный этап, трамплин в полноценное существование, которое возможно только в Ленинграде.

Такая истовая вера, конечно, мешала мне жить в Пскове; я выросла с постоянным ощущением временности, ненастоящности нашей там жизни. Но именно это и дало мне силы с невероятными трудностями перевезти, в конце концов, себя, маму и нашу черную пантерообразную кошку Мэри в столь желанный и столь выстрадавший Ленинград.

Впрочем, до этого ещё надо было дожить.

А пока — именно в Комсомольском переулке полуразрушенного провинциального Пскова меня ожидало уже вполне осознанное детство, юность, первые дружбы и несчастья, всё самое первое...

Комсомольский переулочек как нельзя лучше вписывался в атмосферу общей тупой сонливости и однообразной бесцветности существования. Это был кусок настоящей деревни в центре города. Несколько каменных небольших двухэтажных домов, а вокруг них — деревянные частные хижинки с огородами, палисадниками, курами, сараями и собаками на цепи.

Но наш дом был особенный. От каменных двухэтажных он отличался тем, что был деревянный, а от маленьких деревянных тем, что был двухэтажный. Дом стоял в глубине двора, занимая всю его ширину двумя длинными бараками, как бы поставленными друг на друга. С правого края — обшарпанный «парадный» вход, сразу у входа деревянная лестница на второй этаж, а у начала лестницы налево — узкий, длинный тёмный коридор, по обеим сторонам которого двери, двери до самого конца коридора. На втором этаже то же самое.

Дом был старый, покрытый покоробленными от сырости досками, на которых мало живописными пятнами виднелись облупленные остатки когда-то голубой краски.

Комнатка наша — на первом этаже, сразу напротив входа со двора и самая маленькая. Восемь квадратных метров вытянуты в длину, одно окно смотрит на сарай и общую помойную яму в земле, сбоку другое упирается в глухую серую стену соседнего дома. То есть не совсем упирается, до стены всё-таки было метра полтора. Там даже виднелась в траве тропиночка, но солнцу заглянуть не удавалось никогда. Ума не приложу, как мы умудрялись ютиться в этой комнатушке с мамой, папой, котом Кузьмой и дворняжкой Булькой. Мебели, правда, не было почти никакой: матрас на кирпичках вместо ножек, раскладушка, неуклюжий самодельный шкаф, старый овальный стол на одной ноге, стул и две табуретки. Да ещё много места занимала круглая печка в углу.

Без печки было не прожить. Всё моё детство связано с утренним тоскливым видом зимних чёрных окон, затянутых снаружи снежными узорами, а изнутри — скользящими по стеклу ледяными сосульками. Жизнь не могла начаться, пока папка рано утром не сбегает в занесённый снегом сарай за дровами,

растопит печку, и пока вымороженный ночной дух не сменится живым теплом. Тогда с мукой надо вылезать из постели и быстро собираться в школу. Валенки, пальтишко, шапка, вечно пропадающие варежки — и сразу окунуться в морозную утреннюю тьму, прибежать в школьное тепло, а там уже на первом уроке либо просыпаться, либо досыпать.

Везде были печки, и с осени все начинали заготовку дров. Подъезжали нанятые грузовики, с грохотом вываливали брёвна, и тут уж успевай до дождей всё распилить, наколоть и сложить стенкой или горкой. Дров было много, у каждой семьи свои, поэтому дровяные стенки или горки составляли главный элемент нашего дворового пейзажа, и основной забавой детей было бегать и прятаться между дровами, пока какая-нибудь хозяйка, нимало не стесняясь в выражениях, не прогонит нас от своих драгоценных запасов.

Летом между дровами росла пахучая травка, а осенью и весной разливалась грязь непролазная. Пока выберешься со двора и из переулка на бульжную мостовую соседней улицы, то в лучшем случае весь заляпаешься и забрызгаешься. Это если повезёт, и не шлёпнешься, поскользнувшись, в чёрную жижу. Зато зимой вырастали такие громадные сугробы, что надо было лопатами выкапывать узенькие дорожки во всех необходимых направлениях, а дети устраивали в сугробах пещеры и внутренние проходы.

Ни воды, ни газа не было на нашем дремучем пятакке. Еду готовили в комнатах на керосинках, за водой ходили на соседнюю улицу с вёдрами, бидонами и кастрюлями к водопроводной колонке, у которой всегда была очередь. Ну, и конечно — живописная подробность — туалет был на улице, один на несколько домов, и являл собою покосившийся дощатый ящик с плохо закрывавшейся дверцей. Раз в месяц появлялся благодетель, «золотарь», очищать выгребные ямы туалета и помойки, и притаскивал за верёвку полуживую кобылу, к которой была приделана телега с большой бочкой. Свой приход он предварял зычными жизнерадостными выкриками. Затем этот «узкий специалист» доставал огромный ковш, плавными величавыми движениями зачерпывал содержимое ям и переваливал в бочку. Аромат стоял такой, что уже за не-

сколько домов жители предвкушали такое же очистительное действие на своей территории.

Но отголоски цивилизации в конце концов доходили и до наших мест. Мне было, наверное, лет восемь, когда всё население Комсомольского пера радостно возбудилось новостью, что нам проведут воду. И вот в конце коридора появилась раковина с маленьким краном. Вода, конечно, только холодная. Здесь и мылись, и стирались. Зимой, чтобы вода в трубах не замерзала, кран вообще не выключался, к нему прилаживалась тряпочка, по которой вода стекала сутками и не брызгалась. Но тряпочка тоже отмерзала и отваливалась. Тогда на полу вокруг раковины от брызг нарастала ледяная горка, что весьма затрудняло подход к воде. А уж какая радость зимним ледяным утром мыться в тёмном ледяном коридоре ледяной водой, да соскальзывая по ледяной горочке!.. Потом в доме появился и туалет, один на десять семей, но какой это был прорыв в светлое настоящее!

Вся эта жизнь была для меня, ребёнка, в порядке вещей. При этом я знала, что мы жили в намного более цивилизованных условиях, чем некоторые мои подружки в соседних хибарах, а кое-кто и в подвалах.

Но однажды я пережила самый настоящий удар, пожалуй, первый тяжёлый шок в жизни: я случайно увидела, как можно жить по-другому. Это было так.

Младшими школьниками мы дружили, в основном, по территориальному признаку. Вместе учимся, рядом живём — вот и подружки. Кто живёт подальше, с тем не дружим и у того не бываем. Но как-то раз учительница послала меня в другой район города навестить больную Лидку В. По своей охоте сходить к этой спесивой воображуле желающих не нашлось, а по списку была моя очередь «проявить товарищескую чуткость».

Сразу после школы потащила я в дождь и в холод искать её дом. Идти пришлось далеко, через мост, на котором дождь и ветер толкали и поливали ещё злее. Дом оказался большой, красивый, пятиэтажный (одна из первых послевоенных построек, «сталинский ампи́р»).

Мне открыла Лидкина бабушка, и я оказалась — впервые! — в отдельной квартире. Да какой тёплой и чистой! Да с блестя-

щим паркетом и отдельной большой кухней, где так вкусно и уютно хлопотала бабушка!

— А где Лида?

— А Лида в ванной.

— В ванной? А что это такое?

— Ты что, не знаешь, что такое ванна?

— Не-а. Можно посмотреть? (Мы-то мылись раз в неделю в общей городской бане, выстаивая часами в потной жаркой очереди).

— Нет, нельзя. Лидочка сейчас выйдет.

Ты и так уже тут натоптала, стой у двери.

Такая милая бабушка. Ах, как захотелось, чтобы мне предложили снять тяжёлые мокрые ботинки, поесть, отогреться! Но... я уже и так натоптала. Пришлось стоять у двери и гадать, что же такое ванна.

Наконец, вышла Лидка в невиданном мохнатом халате, душистая, распаренная. Тут я не выдержала и подскочила к открытой в ванную комнату двери. И ахнула! — настоящая ванна, где моется только эта семья! Да ещё у себя дома! Этого не может быть!

Добрая бабушка стала выгонять меня кухонным полотенцем, но я уже, не помня себя, побежала по квартире, заглядывая во все комнаты. Боже! — ковры, зеркала, пианино, у Лидки отдельная комната! Всё это ножом кромсало мою неподготовленную душу...

Совершенно раздавленная, дотащила я под дождём до дому и вдруг так больно впервые увидела всё убожество нашего существования!

Этого я не смогла вынести. Страшно зарыдав, я взахлёб стала рассказывать маме, что сейчас видела у Лидки. И самое главное: «Мама, ты же лучше их всех! Почему мы так не живём? Они такие противные, злые, Лидка воображуля, с ней никто не дружит. А ты лучше, лучше их всех! Ну почему?»

Бедная моя мама! Не могла же она тогда мне рассказать, что Лидкин отец работает в горкоме партии, что её мать — тоже какой-то номенклатурный работник, что все живут по-разному, и вообще в мире маловато справедливости. Ведь считалось, что у нас у всех одинаково счастливое детство. Стараясь, чтобы я не видела её слёз от горя и унижения, она тихо убеждала меня, что, конечно, мы тоже так будем жить, обязательно, скоро... А я всё рыдала, мучая маму своим потрясением.

Тогда мама решила утешить меня беспроектным способом:

— Знаешь что, доченька, давай-ка пойдём в кино!

Это была, действительно, мощная компенсация за пережитое. Поход в кинотеатр был главным и, пожалуй, единственным развлечением нашей жизни в то время. В кино мы ходили только по воскресеньям, после тяжёлой и безрадостной рабочей недели, поэтому так ценно и утешительно было мамино предложение пойти в кино вне расписания.

Телевизора ещё не было ни у нас, ни у кого из наших знакомых. Я впервые увидела телевизор лет в двенадцать в Ленинграде, в доме у мамино старшего брата, моего дяди Эди. На специальном столе стоял громоздкий ящик с крохотным экраном, к которому приставлялась водяная выпуклая линза, увеличивающая изображение.

У дяди Эди во всём были строгость и порядок. И телевизор смотрели не лёжа на диване или развалясь в кресле, а выставлялись рядами стулья, на них чинно усаживались впереди две дяди Эдины дочки и я, а сзади — дядя Эдя с женой, тётёй Галей, и мама. Выключался свет, и уж никаких верчений и разговоров во время фильма не разрешалось. Кино так кино, надо вести себя прилично, у дяди Эди не забалуешь!

Фильмы детства я помню, в основном, по песням, которые быстро запоминала и распевала с упоением. Иногда в памяти вдруг всплывает: «Не забыва-ай! Как после сме-ены Встреча-ались мы, встречаались мы У проходно-ой!» И я сразу оказываюсь в тёмной квартире богатого (по крайней мере, по сравнению с нами) и строгого дяди Эди, смотрю фильм «Испытание верности», о котором помню лишь название и эту песню, затаив дыхание и боясь пошевелиться — иначе лишат этого счастья, с дяди Эди станетя!..

Потом мы возвращались в наш дремучий Псков, где в дяди Эдины телевизионные чудеса даже плохо верилось. Хорошо, хоть кинотеатр недалеко есть. Каждое воскресенье мы всей семьёй отправлялись в кино, всё равно, на что. Папа с утра пораньше уходил в длиннущую очередь за билетами, потом надо было протянуть часы праздничного ожидания, и наконец — мы торжественно шествуем в кинотеатр.

Вся следующая неделя проходила в воспоминаниях об увиденном и в предвкушении следующего праздника. А чтобы праздник состоялся, мама поставила обязательное условие: я должна была проучиться неделю без единой тройки, а четвёрок могло быть не больше двух штук. На самом деле, училась я легко и очень хорошо, но моё вечное беспокойное «шилопопие» и мечтательная рассеянность приводили к дурацким ошибкам и обидному снижению отметок. Ну как с этим бороться? По-моему, мама придумала гениальный ход, и я очень старалась.

Но однажды праздник не состоялся. Причиной этому была, как ни смешно, моя грамотность.

По русскому языку я всегда была отличницей. Читать начала примерно с четырёх с половиной лет благодаря папке, который устраивал со мной весёлые игры «в школу», очень смешно изображая то недотёпу-учителя, то придурка-ученика. Так что я быстро и весело научилась читать, и даже иногда в детском саду воспитательница, ошалев от нашего галдёжа, усаживала детей вокруг меня, я читала им вслух какую-нибудь книжку, а она могла хоть немного отдышаться.

И надо же было так сложиться судьбе, что через много лет я стала преподавать русский язык в Израиле! Занимаясь с маленькими детьми, я часто использую те давние папки фокусы и хохмы, которые срабатывают так же безотказно, как когда-то на полу, возле печки с горящими дровишками веселили и учили меня.

Постоянное чтение в нашей семье было большой и необходимой частью домашнего уклада. Вероятно, поэтому у меня была грамотность интуитивная. А вот учить правила, почему надо писать не так, а эдак — это было невыносимо и раздражало тупостью и ненужностью. Но делать было нечего, пришлось учить.

Всё-таки однажды я проваляла дурака, ничего не выучила и, конечно, именно в тот день меня вызвали к доске. Написав всё без ошибки, я так и не смогла растолковать бедной училке, почему здесь надо писать «е», а там — «и». Не вынеся такого оскорбления, училка вклеила мне тройку! Первую позорную тройку!

Ну что ж, притащила я эту тройку, как пудовую гирию, домой. Мама только поджала губы и сказала тихо: «С чем тебя и поздравляю». И всё!

В доме повисла суровая напряжённая тишина. Ну хоть бы отругали меня, чтобы была возможность пореветь, наобещать исправиться — только не эта тишина! И я так надеялась, что до воскресенья всё как-то расосётся...

Настало воскресенье. После завтрака папа начал, как обычно, надевать пальто. Мама спросила:

— Петя, ты куда собрался?

— Как куда? За билетами.

— А мы сегодня никуда не пойдём. Ты же знаешь, что Мила получила тройку.

Внутри у меня всё рухнуло, я схватила какую-то книжку и уткнулась в неё тихо реветь. Папка ушам своим не поверил, но делать нечего, — он снял пальто и сел со своей книжкой к печке; мама с книжкой сидела на тахте. Так мы просидели полдня, каждый в своём углу, делая вид, что читаем. У мамы было совершенно непроницаемое лицо, а на папку просто жалко смотреть: такие несчастные собачьи глаза!

Ближе к вечеру он не выдержал и заскулил:

— Ну она исправится, ну давай её простим, ну пойдёмте в кино!

Мама молчит.

Это стало для меня последней каплей. Не выдержав тяжести своего свинства по отношению к ним, я бросилась к маме и стала кричать, что я прошу, ну пожалуйста, идите в кино без меня, ну идите обязательно! А я посижу дома одна, я буду заниматься, я больше никогда не буду плевать на эти дурацкие правила!

В папкиных глазах засветилась надежда, но мама с тем же непроницаемым лицом сказала:

— Мы с папой не можем пойти в кино, потому что твоя тройка — это наша общая неприятность, и никакого настроения идти в кино у нас с папой нет.

Папка сник: мамино слово всегда было первым и последним, и он всегда делает так, как она сказала, как бы он не был с ней не согласен. Но мама всё-таки придумала компромисс. Она сказала:

— Ну, о кино и речи быть не может. Мы сейчас просто пойдём погуляем, а вечером послушаем радио «Театр у микрофона».

Слава Богу! Обстановка разрядилась, мы погуляли, а я получила хороший урок: я отвечаю не только за себя..

Вечером мы слушали какой-то радиоспектакль...

Сейчас уже трудно представить, какое значение в нашей тогдашней жизни имело маленькое радио на стене. Это было окно в мир, двери, ворота... это было всё. Радио не выключалось сутками и постоянно бубнило. В уши и мозг сыпалось всё подряд: театральные радиопостановки и «Говорит Пекин», сколько времени и какая погода, браваурные марши и детские передачи, новости сельского хозяйства и последние известия, которые долго были для меня неразрешимой загадкой: почему всё время последние? а первые известия когда?

С радио связано одно из самых ранних и горестных моих воспоминаний.

Когда мы жили с моих двух до четырёх лет на чердаке, в холоде и нищете, единственным «предметом роскоши» была маленькая коричневая коробочка радио.

И вот каждый день в шесть утра из коробочки — Гимн Советского Союза. В это время мама будила меня, чтобы тащить в темень и мороз на другой конец города в детский сад. Я хотела спать, есть; я боялась тьмы и мороза, детского сада, про который с плачем кричала, что «не хочу туда! туда не надо!» Я боялась опять надолго — на целый день! — расстаться с мамой. Все эти беды такой болью сжимали сердце на фоне гремящего гимна! При первых же аккордах я начинала безутешно рыдать, и до сих пор, когда я слышу эту ненавистную мелодию, моя душа наполняется такой тревогой, ощущением бесприютности и надвигающейся беды, как будто меня сейчас опять бросят в ту страшную, тёмную и холодную жизнь.

А лет с четырёх у меня появился панический страх перед замолчавшим хотя бы на минуту радио: значит, сейчас объявят войну! Откуда пришёл этот страх, почему именно из радио, почему именно войну? — не знаю, не помню.

Как только радио замолкало, холодный ужас продирает меня с головы до пят, каждая секунда ожидания была всё невыносимее! Я почему-то не могла сказать об этом маме, а просто вжималась под одеяло, под подушку, — ну скорее заговори, а то я сейчас так страшно закричу!

«Говорит Псков! Московское время... Передаём последние известия...»

Ф-фу, наконец-то! Ещё сердце побьётся, руки подражат, но до следующей паузы можно отдышаться. Были дни, когда я старалась вообще не слушать радио, чтобы не услышать, как оно вдруг замолчит. Но почему нельзя было сказать об этом маме? Развеять, снять этот животный ужас? — не понимаю.

С тех пор страх войны преследовал меня всю жизнь, то рассеиваясь, то сгущаясь. Он вернулся ко мне через много лет, но уже с реальным смыслом, когда в Израиле, во время войны я сидела, оцепенев от страха, перед телевизором в страшном ожидании следующей сирены, выворачивающей всё нутро ужасным воем, в ожидании разрывов ракет — ближе, дальше, ещё ближе... Да ещё надо было скрывать это состояние от сына Миши, чтобы он не волновался за меня...

Но откуда был такой же страх войны и бомбёжек у четырёхлетнего ребёнка? Ведь первую, осознанную мною информацию о прошедшей Великой Отечественной войне я помню только класса с четвёртого-пятого.

А как я любила немножко заболеть! Немножко, ровно настолько, чтобы не идти в школу, но при этом не валяться, страдая от температуры а, оставшись одна, в постели обложиться книжками, цветными карандашами, раскрасками, куклами. И главное — ждать, когда ровно в десять утра по радио именно мне скажет такой родной, любимый, «дедушкин» голос:

— Здравствуй, мой маленький дружок! Устраивайся поудобнее и слушай мою сказку.

Это был знакомый всем детям голос, так обаятельно рассказывающий чудесные сказки про свинопаса, принцессу на горошине, про пальчик по имени Теджемит... Он пел песенки и шутил, утешал и обучал. У этого голоса было имя: Сказочник. Потом я узнала, что у него есть ещё одно имя: Николай Николаевич Литвинов. Мало что детям моего

поколения приносило столько доброты, мудрости и душевного покоя, как этот любимый голос! Низкий Вам поклон, любимый сказочник Литвинов!

И ещё один любимый голос подарил мне радио. Имя этого голоса — Мария Ивановна Бабанова. Серебряный, хрупкий, неземной, он первый рассказал мне о Маленьком Принце... Он пел так чисто и нежно о самых чистых и нежных человеческих чувствах!

Много поведало мне радио в комнатке на Комсомольском переулке патриотической и сельскохозяйственной мурсы, но часто все дневные дела и заботы были построены так, чтобы обязательно в определённое время послушать прекрасный спектакль, классическую музыку, стихи. А потом, в мои двадцать два года мы переехали на другой конец города, в другую коммунальную квартиру в кирпичном новом доме, и там у нас уже появился телевизор, и вообще вся жизнь пошла по-иному.

Самое главное — радио, кино, книги уводили в другую, совсем другую жизнь, не страшную, не грязную. А настоящая жизнь была тут же, за нашей тонкой дверью, обитой для утепления старым одеялом.

Надо было обладать маминими мудростью, душой и мужеством, чтобы не только ладить со всеми нашими соседями, но зачастую быть самым авторитетным судьёй и примирителем в наших барачных сварах и пьяных скандалах. А это было очень страшно: истошные вопли избиваемых жён, визги перепуганных детей, пьяный кураж и матерщина...

Самым тихим пьяницей был сосед напротив, Федя, живший с запуганной, безмолвной красавицей женой Зиной. Федя, конечно, пил, как все мужики вокруг, крепко и часто. Но тихо. Получалось у него так не по кротости нрава, а просто уже по невозможности не только что-либо произносить, но даже докататься до своей комнаты два-три шага. И он каждый раз замертво сваливался под нашей дверью. Дверь открывалась наружу, и мы оказывались полностью заблокированы, пока кто-нибудь из соседей не оттащит его или постучит Зине, чтобы она заволокла это сокровище в комнату. И потом долго слышал-

ся жалкий скулёж: это давилась рыданиями несчастная Зина.

Мама иногда пыталась Федю увещевать:

— Ну что ж ты падаешь под нашей дверью, нам же не выйти — не войти. Уж дотащись до своей комнаты, ведь два шага всего.

Федя мотал опухшей рожей и смущённо бормотал:

— Ой, ну, Виктория Михална, да когда же это я... да не может быть... да чтобы я...

Когда у них родился Юрка, Федю от пьянки как отрезало, но было уже поздно: в прекрасных Юркиных голубых глазах — Зинино наследство — навсегда застыло тупое выражение умственно-неполноценного ребёнка, наследство от Фединога алкоголизма. И эту беду Зина несла тихо и безропотно.

Зато семейка Поповых была в нашем коридоре самой крикливой. Бабка Попова без конца костерила дочку Люську, грязную, всклокоченную продавщицу уличного мороженого. Крепкие кривые Люськины ноги летали по коридору в такт матерной брани, которой она лихо отругивалась от бабкиных претензий. А претензии были, так сказать, морального плана: опять у этой... растёт брюхо, и от какого же... она опять...

Тут же вертелась под ногами Люськина дочка Аринка, маленькая, чернявая, косоглазая истеричка, которую моя мама помогла устроить, в конце концов, в специнтернат. Там Аринку если и не могли ничему научить по причине полной Аринкиной невосприимчивости, то хоть постоянно кормили и, худо-бедно, да одевали. На выходные Аринка являлась в отчий дом и громко, чтобы все слышали и восхищались, демонстрировала благоприобретённые культурные навыки:

— Бабушка, «уборная» говорить некрасиво. Надо говорить «туалет». Я пошла в туалет... поспать!

Но недолго бабка Попова отдыхала от окультуренной внучки. К Люське стал приходиться постоянный кавалер, жуткого вида цыган ростом Люське под мышки, похожий на злобно-испуганного чёрного жука. Было известно, что он базарный вор, но Люська всем соседям проорала, чтобы мы не боялись, нас он не тронет, иначе «она даст ему вот такого пенделя».

У Люськи с кавалером почти каждый день были весьма яростные выяснения отношений. Крохотный метраж комнатки Поповых не соответствовал разгулу цыганских страстей, и наши влюблённые голуби визжащим клубком выкатывались в коридор, доругиваясь уже здесь с беготнёй друг за другом, хлопаньем дверей и мордобоем.

Вскоре у бабки Поповой появился ещё более горький повод для криков и проклятий: Люська родила беспрерывно визжащего цыганёнка.

Много-много лет спустя я приехала в Псков, и ноги привели меня в наш барак, который так и стоял в глубине заросшего травкой двора. Постучалась в нашу бывшую комнату. Открыла дверь опухшая старая тётка и сразу поверила, что я здесь жила. Оглядевшись, пригорюнившись, я стала расспрашивать тётку, кого из наших соседей она здесь застала. Оказывается, бабка Попова только недавно умерла уже очень древней, но по-прежнему крикливой старухой.

— Она всё какую-то Михалну вспоминала. Это кто ж у вас тогда был Михална?

— Господи, да это же моя мама!

— Да что ты! Уж так она её вспоминала, так помнила, какая Михална была... э-э... культурная...

Да, это было высшей похвалой. Из нашей комнаты не только матерной брани не раздавалось, но — главное чудо — у нас единственных во всём доме была хоть маленькая, но полка с книгами. Да ещё «Михална» дочку свою водила в музыкальную школу, что по тем временам и по тому быту было признаком какого-то уж совсем другого существования...

Отревевшись, я спросила и про Евдокимовну.

— Ну, та как жила неслышно, так и померла. Мы несколько дней и не знали, что она там мёртвая лежит.

Евдокимовна была одинокой, беленькой, и вправду неслышной старушкой. Иногда к ней тихо прокрадывались такие же бабульки в белых отглаженных платочках, и они за плотно закрытой дверью начинали тихо-тихо и очень тоненько петь.

Евдокимовна была баптисткой и сначала очень боялась, что мама, активный член

компании, на неё донесёт. Однажды она пришла к нам и заискивающе о чём-то с мамой пошептала. Мама так же тихо ей ответила, и Евдокимовна посветлела, закивала и успокоилась. Здороваясь с мамой, она всегда останавливалась и с почтением слегка кланялась. Иногда деликатно скреблась к нам в комнату и шепталась с мамой о каких-то своих проблемах. Больше я о ней ничего не знаю.

Но вот уж кто совсем неделикатно стучал к нам в дверь, так это трёхлетняя пузатая Наташка.

— Тёта Вита! А тёта Вита! — кричала она басом. — Я миску принесла!

Как правило, это было во время наших весьма небогатых трапез. Папа сразу откладывал ложку, а я старалась быстро доест, потому что Наташка пришла с миской не просто так. Она пришла по делу: за едой. Причём из всего дома только к нам. Мама собирала ей в миску остатки из кастрюли и из наших тарелок, и Наташка отправлялась, когда с полной миской, а когда и не очень — в зависимости от наших возможностей - в другой конец коридора, где уже выглядывали из комнаты её голодные сёстры-близняшки, пятилетние Танька и Галька, и пряталась от стыда их мать Вера. Вера работала уборщицей в какой-то столовой, но в те времена ещё боялись как следует воровать, и Вера к своей нищей зарплате могла принести домой разве что несколько кем-то недоеденных кусков хлеба.

Глава этого женского царства, Павел, был страшен: худой, тёмный, всегда пьяный и всегда молчавший. И Веру бил молча. Много раз она со всем своим выводком отсиживалась у нас, посылая на разведку то Таньку, то Гальку посмотреть, отрубился уже отец в пьяный сон и можно ли прокрасться домой и залечь на тряпки на полу: в комнате стояли только лавка у окна и стол.

Но какой был шок, когда выяснилось, что Вера ждёт четвёртого ребёнка! У мамы аж руки опустились:

— Вера, ты понимаешь, что мне вас всех не прокормить?

— Ну что вы, Виктория Михална, я же понимаю, мы просить не будем.

А живот растёт, Вера есть хочет, ну что тут поделаешь? Подростая Наташка всё ходит с миской и иногда басом спрашивает:

— Тёта Вита, а касель? — настолько мамин кисель поразил однажды её воображение.

Но вот ранним летним утром Вера постучала к нам и, корчась, сказала, что начались схватки, а пьяного Павла не растолкать.

Никаких телефонов ни у кого в доме и в помине не было, так что папа мой вскочил, быстро оделся и потащил Веру под руку в роддом. Вера чудом дотерпела до роддома и родила сразу же в приёмном покое. А то пришлось бы моему папуле принимать роды в предутреннем скверике.

Родилась четвёртая девчонка, Любка. Мама ходила по соседям и ближним домам, собрала все обноски, кто чем смог поделиться, Любке на пелёнки, и отнесла Вере в больницу.

Павел ждал, что будет, наконец, мальчик, и был так разъярён появлением девчонки, что из роддома Веру пришлось привести опять же моему папе. Соседи даже побаивались, что Павел вообще Веру в дом не пустит, но как-то обошлось.

И самое удивительное, что эта семейка всё-таки выжила. И девчонки получились глупыми, но добрыми и хорошими и Вере помощницами.

Потом Вера получила отдельную квартиру в новостройках Пскова. Они уехали, а мама добилась разрешения перебраться нам в их комнату, квадратную, площадью целых четырнадцать метров, и в нашей жизни началась хоть малая, но новая полоса...

Через несколько лет мы с мамой случайно встретили Веру на улице. С ней была повзрослевшая и располневшая Галька. Вера кинулась маме на шею и сразу объявила о беде. Оказывается, Галькина полнота — позорная беременность. Вера плакала, что и по улицам ходить стыдно, и аборт делать поздно, и Павел грозит убить, и виновник сразу Гальку бросил.

В общем, полный кошмарный конец всему. Галька, привычно окаменев от стыда и страха, молча глядела в землю.

И тут моя мамочка совершила очередное чудо. Поняв, что ничего уже не изменить, она вдруг радостно сказала:

— Ребёнок? Да это же прекрасно! Это такое счастье! Парень тебя бросил? Да и чёрт

с ним, и близко его не подпускай, недостойн он такой чести и такой радости!

Вера и Галька раскрыли рты и выпучили глаза. У Гальки начало розоветь лицо, Вера обмякла и посветлела. Давний камень начал не только сваливаться с них, но и преобразаться в грядущее торжество и радость. А мама всё убалтывала и уверяла, утешала и уговаривала...

Уходили Вера с Галькой сияющие и счастливые. Больше я их никогда не видела.

Несколько раз я оставалась на два-три дня совсем одна, когда мама с папой разезжались по командировкам. В эти дни по просьбе мамы за мной присматривала Борисовна, бабка моего одногодки Борьки Борисова. Заботы её сводились к минимуму: она топила печку и кормила меня невкусной картошкой.

Семейство Борисовых было тихое и унылое. Только иногда к нам без стука вривалась Борькина мать, спасаясь от пьяного мужа, который вваливался за ней, размахивая старым чугуном утюгом. Мама тут же наводила порядок, выставляла их за дверь. Инцидент исчерпывался быстро и привычно, только меня потом приходилось долго успокаивать от испуга.

С Борькой же отношения были выяснены раз и навсегда, когда однажды он пришёл ко мне, и мы стали рассматривать какую-то мою книжку. Читать он ещё не умел; я захотела было ему почитать, но он интересовался только картинками. Забрав у меня книжку, он начал сам искать картинки, и — о ужас! — слюнявил пальцы, переворачивая страницы. В порыве благородного негодования я выхватила у него книжку и стала яростно дубасить его книжкой по башке. Борька заверещал и стал отбиваться; я кричала, что он «дурак некультурный»; от книжки летели клочья. На скандал из коридора прибежали наши мамы и стали отгаскивать меня от ревушего Борьки. Я швырнула в него напоследок ни в чём не повинную книжку, сварливо каркнув: «Будешь знать, как с книжками обращаться!»

Еле сдерживая смех, мама, конечно, вправила мне мозги по части «культуры-некультуры». Потом пришёл с работы папка, и ему всё было рассказано в красках и действиях. «Правильно, доченька, - сказал он, - учить

всегда надо через голову. Книжка-то хоть не очень тяжёлая была?»

Мы с Борькой продолжали, как обычно, мирно бегать и орать во дворе со всеми соседскими детьми, но он уже остерегался проявлять ко мне «интеллектуальный интерес».

Самая страшная старуха в нашем доме жила на втором этаже. Никто не знал, как её зовут, она была просто Васькина бабка. Входя во двор, невольно смотришь наверх, не высовывается ли из окна косматая седая башка, не начнётся ли сейчас истошная ругань на Ваську с такими заковыристыми злобными матюгами, что от страха сразу падало сердце, и по сравнению с которыми крики бабки Поповой — просто Версаль. А Васька, сопливый вонючий пацан, единственный не боялся свою бабку, несмотря на каждодневные побои. Чуть подросши, Васька стал драться с ней на равных, да ещё с таким отборным текстом, что от этого концерта разбежались со двора даже взрослые мужики.

Отца у Васьки и в помине не было; мать, разбитная Тмарка из фабричных, сыночком не интересовалась вовсе и по вечерам плясала в ансамбле народного танца. Казалось бы, замечательно! Не всё же водку пить! Но Тмаркино увлечение было головной болью всех соседей в прямом смысле слова: она часами плясала в своей комнате и барабанила каблучищами свои дроботушки-перетопки. Грохот стоял на весь дом, лампы качались, с потолка сыпалась штукатурка. Кто-нибудь не выдерживал и мчался ругаться, но Тмарка отбрехивалась, посылала по краткому известному адресу и продолжала «учить уроки». Деться было некуда...

Васька ещё в отроческие годы оказался в тюрьме, и дальнейшая его судьба мне неизвестна.

А прямо над нашей комнатой жила ещё одна «концертная бригада». Два инвалида: длинный, седой одноногий Иван — вместо второй ноги приделана деревянная палка — и его жена, короткая, толстая, одноглазая каракатица Дуська. Несмотря на увечья, это была довольно жизнерадостная парочка. Частенько они друг с другом выпивали и начинали веселиться. Иван наяривал на гармошке, которая немилосердно фальшивила от старости, и они громким дуэтом распевали

непристойные частушки. При этом Дуська истошно взвизгивала и шлёпала в ладони, а Иван самозабвенно колотил палкой-ногой по полу. Все соседи знали наизусть репертуар и терпели. Но моя мама этого вынести не могла. Ей приходилось подниматься к ним и как можно ласковее упрашивать хотя бы петь потише эти неприличности — «кругом же дети!» — и не стучать палкой-ногой почти по голове. Результат уговоров не всегда был удачным. А что поделаешь?

Комсомольский переулочек, дом 4-б, наш уютный челнок, набитый людьми и крысами, грязью, плесенью и запахами, дружбами и ссорами... Вспоминая сегодня окружение моего детства, я поняла одну важную вещь: всё в нашем челне было — голод и радости, болезни, дружбы и драки — но не было злобы, той беспричинной злобы, с которой мы часто встречались в других, внешне более цивилизованных коммунальных ковчехах.

Здесь внутри семей бывали жуткие сцены с мордобоем и воплями, зачастую принимавшие общедворовый масштаб, но вот проспались, помирились, и опять тихо и доброжелательно на какое-то время. Пили-то, в общем, и дебоширили от бедности, серости и убогости жизни.

И никогда не было воровства. Комнаты по-настоящему не запирались, так, крючок какой-нибудь. На нашей двери висел ржавый почтовый ящик без дверцы. В этот ящик клали почту на весь этаж, а мы хранили в нём ключ от комнаты, и все знали об этом. И даже не приходило в голову, что могут отпереть, украсть последнее просто так, по злобе.

Всеобщее миролюбие и примирение наступало в весенние дни Пасхи, которую отмечать было запрещено, но народ-то весь простецкий, — как же без куличей и поцелуев с пьяненькой слезой!

Мама, выросшая на комсомольском атеистическом энтузиазме 30-х годов, реагировала на не-государственные праздники суровым молчанием, а папка всё-таки умудрялся потихоньку от мамы выскользнуть на несколько минут во двор, где его уже ждали с крашеными яичками, водкой в мутных стаканах и слюнявыми поцелуями.

Но маме тоже не всегда удавалось миновать изъявления народной любви. О поце-

луях не могло быть и речи, и обижать нельзя. Я очень люблю эту сцену:

— Викто-ория Миха-ална, дор-рогая ты наша, Христос Воскресе!

— Да? Ну, хорошо! — с достоинством отвечала мама и проплывала мимо распахнутых объятий, но все были довольны.

В этом доме я впервые встретила со смертью.

Однажды летним вечером мама взяла меня за руку и сказала:

— Сейчас мы пойдём попрощаемся с Аркашиной мамой. Она умерла, мы побудем несколько минут, ты там не играй и не разговаривай.

Аркашка, жизнерадостный четырёх-летний карапуз, был точной копией своего отца: оба румяные, толстогубые, кудрявые, с яркими чёрными глазами навывкате. Они часто устраивали во дворе беготню и весёлые дурачества друг с другом. Отец работал в кукольном театре, и я гадала: кем можно там работать? петрушкой, зайчиком?

Полной им противоположностью была другая пара — Аркашкина мама, тоненькая, тихая, болезненно-серенькая Наденька и её седая, гордая, молчаливая мать. Вся семья жила в одной комнате.

Совсем недавно я видела, как они вдвоём — мать и дочь — медленно вышли вечером во двор, когда уже никого не было, и молча сидели на скамеечке, держась за руки и глядя друг на друга. И вот теперь — мы идём прощаться.

Мы поднялись на второй этаж и вошли в полутёмную, очень чистую комнату. На кровати лежала белая Наденька, обложенная увядшими ромашками и васильками. На другой кровати безмятежно спал раскрасневшийся Аркашка; в углу у печки хлюпал носом Аркашкин отец, а рядом с Наденькой на низкой табуретке неподвижно сидела согнувшаяся мать покойницы, не отрывая взгляда от дочери...

На следующее утро началась суета, которую мы, неразумные дети, воспринимали чуть ли не как праздничную. Приехал и остановился посередине двора грузовик. Пришли жители соседних домов и улиц, появилось много незнакомых людей. Несколько тёмных старух молча разбрасывали еловые ветки

в доме и во дворе, мы весело им помогали. Особенно резвился ничего не понимающий Аркашка. Он носился по двору и время от времени орал:

— Ура! Машина приехала, и гроб привезли!.. Ура! Музыканты пришли!

Какие музыканты? зачем? Я побежала за ворота. На улице молча стояла кучка неприятных нетрезвых мужиков с тусклыми трубами под мышками и громадным барабаном на земле. Ах, как интересно!

Потом в полной тишине из дома вынесли гроб и поставили в открытый кузов грузовика. Под руки вывели Наденькину мать, совершенно белую, с высоко поднятой головой, с крепко закрытыми глазами.

И вдруг произошло что-то ужасное, как будто все страшно закричали от непереносимой боли, — это внезапно грянул первый аккорд похоронного марша. Ничего не понимая, впервые оглушённая ужасом смерти, который обрушила на меня эта страшная, фальшивая, нестройная музыка, я заметалась по двору среди взрослых и так зарыдала, что кто-то рядом сказал:

— Это разве её мама?

Но мои мама и папа на работе, я дома одна. Где искать спасения, кто утешит? Я вбежала в комнату, схватила какую-то книжку и опять выскочила во двор. Трубы всё пищали

и плакали, барабан ухал не в такт. Грузовик фыркнул и пополз, вослед качнулась за ворота толпа... Я осталась одна во дворе и долго сидела на лавочке, еле дыша и прижимая к груди единственное утешение, сказки Андерсена.

В те времена похоронные процессии медленно шли через весь город до кладбища. У кого не было сил, те сидели в кузове рядом с гробом. Останавливалось городское движение, к провожающим присоединялись сочувствующие и зеваки. Люди победнее обходились без оркестра. Однажды я видела, как по городу медленно тащилась старая кобыла с открытым гробом на телеге. За телегой шли несколько человек крестьянского вида, среди них был мальчик лет четырнадцати. Рядом с гробом стоял патефон, и мальчик на ходу менял пластинки и крутил патефонную ручку. Так они долго брели в полном молчании по пустым жарким улицам, в сопровождении сипящих невразумительных звуков заезженных пластинок...

После похорон Аркашка с бабушкой куда-то уехали, и больше я их не видела. Отец Аркашкин горевал недолго. Вскоре рядом с ним стали мелькать хихикающие девичьи с кукольными личиками, что наводило на мысль, что они, наверное, тоже из кукольного театра. Жизнь продолжалась.

Окончание следует